

Лидия Салохидинова

Фотография

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Лидия Салохидинова

Фотография

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Салохидинова Л. П.

Фотография / Л. П. Салохидинова — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Сибирь. Барабинская степь. Разглядывая фотографию, старый человек, Кравченко Прохор Семёнович, вспоминает, как и когда была сделана эта фотография; перед ним проходит вся его жизнь, жизнь родных и близких. Крестьяне (полтавские, орловские и др.) из густонаселённых губерний России идут сюда, в Сибирь, в поисках вольной земли; обустраиваются, приживаются среди барабинских татар. Кочующие по степи цыгане воруют у Кравченко телка. Проня, в поисках его, бегаёт окрест. Цыгане, - в их таборе случается мор, - отдают больную новорождённую девочку Проне. Ребенок воспитывается в семье Кравченко. Содержит нецензурную брань.

© Салохидинова Л. П., 2018

© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Глава 1

Сон старика был рваным, ремкастым, он часто пробуждался, подолгу не мог заснуть. Сны-видения, лоскутчатые, мозаичные, – то злые, тревожные, а то, как в далёком-далёком детстве, нежные, ласковые, приводящие к томлению, ожиданию чего-то бесконечно светлого, доброго.

Встал Прохор Семенович по привычке рано. Одев очки жены, старый человек жадно рассматривал фотографию, которую он с вечера, копаясь в документах, достал из серванта. Старик всё собирался съездить в город, заказать себе очки, а теперь вот не надо, – Олины подходят. Фотография старая, пожелтевшая от времени, в одном месте переломлена, а по краям кое-где обремкалась, как будто обглоданная временем. На фотографии вся их большая семья: отец, мать, брат, сёстры.

Сознание старика мерцало, как экран старенького телевизора «Рекорд»: изображение на экране телевизора то появлялось, а то исчезало. И память старика высвечивала из своих глубин то далёкое, щемяще родное, светлое, – от чего перехватывало дыхание, и замирало сердце, то гнетуще горькое, – и опять перехватывало дыхание, и замирало сердце. А то вдруг мысли рвались, ускользали. А затем вновь вспыхивали; всплывали картинки детства, юности... как будто по телевизору крутили старое кино.

Память, как повилика, цеплялась за всё: за каждую деталь и штрих на фотографии.

Старик уставал от воспоминаний, откидывался назад, на изголовье дивана. Засыпал.

Очнувшись, старый человек вновь жадно всматривался в фотографию, вновь предавался воспоминаниям.

... На фотографии он с правого краю, ему здесь одиннадцать лет. Он ровесник века. Старик хорошо помнит, как и когда они фотографировались. И это было целое событие для их семьи, да что там говорить, – для всего их села.

Фотографы тогда были ещё в редкость. Фотограф приехал в их село Берёзово из уездного городка Каинска в августе месяце.¹ И то, что приехал он именно в августе, – это было неслучайно, потому что плату за фотографии мастер брал коровьим маслом и картошкой.

К августу хозяйки уже успевали накопить масла, и, как правило, маслом рассчитаться должны были задатком, авансом; картошку добавить после того, как фотограф привезёт уже готовые карточки. Приедет он с готовыми фотографиями в сентябре, когда уже выкопают картошку.

Приехал фотограф семьёй, с женой и сыном-подростком. Жена вела бумажные дела, бухгалтерию, записывала, кто снялся, и кто сколько заплатил, а сын помогал отцу, – подать, принеси-отнести, сбегать, – был в подмастерьях, научался ремеслу отца.

Фотограф, Карл Иванович Коваль, длинный и тощий, у него орлиный нос, крючковатый и тонкий, словно незрелый гороховый стручок, а на нём всегда висела светлая капелька. Жена его, тётка Уля, маленькая, но полная, загорелая и краснощёкая, ядрёной тыквиной всегда катилась впереди мужа. За ними, как подневольный, плёлся их сын, двенадцатилетний Лёнька.

Они были сродни Фёдору Протасову – Ульяна приходилась сватьей двоюродному брату Федора, – и поселились у него, ночуя повалкой на полу. За своё лежище, в угол избы, фотограф складывал всё свое драгоценное имущество, подальше от любопытной проказливой протасовской детворы, – как бы не раскучили чего.

¹ Каинск – с языка барабинских татар «каин» – берёза; основан в 1722 году как военное укрепление Каинский Пас. В 1935 году Каинск был переименован в г. Куйбышев в честь революционного деятеля В. В. Куйбышева, который отбывал здесь ссылку. До 1921 года входил в состав Томской губернии; с 1921 года – Ново-Николаевской губернии (Новосибирской).

Они, – а их было пятеро у Федора – уж несколько раз просили потрогать фотоаппарат. Фотограф разрешал. Те выстраивались в очередь, подходили один за другим, прикладывали свои пальчики к досочке аппарата – чистые поэтому случаю: кто послунявил да рубашонкой вытер, а кто к кадушке, в огород, сбегал. Младшенькую же, Катеньку, которой еще и года не было, и она ещё ничего не понимала, её, орущую, приподносил к аппарату старший брат, Володя, он и ручонку её к аппарату прикладывал.

Детвора протасовская ходила в те дни, все, как один, кроме ещё бестолковой и не умеющей ходить Катеньки, именинниками. Особенно задирали нос Вовка. Еще бы! – был он у фотографов при деле, – поводырём, провожатым. Он знал, где кто живёт в селе.

Фотограф наказывал Вовке, чтобы тот водил их по селу правильно, – по порядку, а не таскал их с одного конца села на другое.

Тетка Уля, размахивая своими короткими руками, научала Вову:

– Вот вышли мы из ограды, и идем в начале по вашей стороне улицы... по правую руку... ну и заходим к тем, кто восжелал сфотографироваться... а потом завернули, и по другому порядку... а потом завернули, и опять по вашему порядку... Люди будут знать, видеть, где мы, и, когда мы приблизимся к их дому, готовы будут, – оболкутся, принарядятся... А то, нам – жди, им – переждидай... А затем по другой улице также пойдём... А потом уж, напоследок, к тем пойдём, кто всё-таки надумал сняться.

Вовка так и делал. Вот только вчера он нарушил порядок. И все это из-за Филиппки Кудрявцева. Фотограф, конечно, понял о нарушении Володей принятого порядка, но ничего не сказал, лишь улыбнулся понимающе, снисходительно, с неким оттенком лукавства.

Филиппка Кудрявцев, ровесник Вовки, в те дни с завистью следил за Вовкой. Горестно вздыхал он о том, что судьбина обделила его такой роднёй, как Карл Иванович. И два дня подряд упрашивал отца, мать сфотографироваться; сам канючил и научал этому младшую сестренку Лизоньку.

Говорил Филиппка с подвывом родителям:

– ...уже все в деревне переснимались, токо одни мы не снялись, мы че хуже всех што ля... мы бы на картинке все красивые получились... Мамка, ты же к пасхе нову юбку сшила... Масло съешь, а карточка останется... память.

Обещал:

– Я, мамка, цельный год масло не буду в кашу класть.

Посоветовавшись, филиппкины родители всё же решились запечатлеть своё семейство на карточку.

И вечером того дня, прежде, чем объявить Вовке о том, что они будут сниматься, говорил Филиппка ему:

– Ой, ой, Вовка, ходишь по улке как самый главный, – говорил и подтягивал, сползающие с худосочных чресел, доставшиеся ему от старшего брата, штаны.

– Ой, ой... а чё? – подбоченившись, выпятив грудь, отвечал веско Вовка. – Да я куды скажу, туды и идёт Карла, – Вовка даже сплюнул, как ему казалось, – и ему очень хотелось, – по-взрослому. Но тот его плевок, пенисто-пузырчатый и прозрачный, попал ему же на ногу. Он незаметно стёр его другой босой ногой, пока Филиппка опять отвлёкся на свои портки, – решил он в этот раз их подогнуть.

– Я сроду б никогда не снялся... ха! – не охота... Энто тятя с маманей заставляють... Говорят, уж почти все в деревне снялись, токо мы нет... масло съешь, а карточка останется... Вот ты, Вовка, говоришь, что куды скажу, туды и идет Карла. А скажешь, чтоб он к нам вперед всех завтра, как только коров выпроводим в стадо, пришел.

– А спорим.

– Спорим.

– На че?

– А на свистульку.

Так и проспорил Филиппка Вовке свою свистульку. Правда, она с шербинкой – надколотой уже была, но Филиппке всё равно было её жалко; а Вовка же, заполучив ее, жалел, что она была с шербинкой.

Шестилетний Вовкин брат, Мишка, дежурил у ворот своего дома; его делом было: запоминать тех, кто наказывал о намеренье сфотографироваться. Мишку окружали сверстники и малышня, и всю неделю слушали его все одно и то же враньё. А рассказывал он о том, как фотограф готовил свой аппарат с вечера. И, по словам Мишки, вот как: наловит воробьев, насадит их в «энтот ящичек», – а то, как бы пташки потом из него вылетали.

Раза два после ужина тётка Уля раздавала всем ребятишкам по пряничку. Мишка же, стоя в кругу друзей, врал: тётка Уля каждый день нас до отвала пряниками кормит; кормит и кормит. Уже не хочешь, а она: ешь да ешь. Фотографы! – они же богатые!

Друзья сглатывали слюнки.

В тот приезд фотографов семья Протасовых была сфотографирована на фоне печки с ухватами. Бесплатно, – выхвалялись Протасовы перед селянами. Фотограф же говорил им: за ночлег и столование.

Вовка с Мишкой за помощь фотографу заработали право сняться вдвоём. Снялись они на фоне поленницы.

...Стол, – стол покрыт льняной скатертью. Вокруг стола вся большая семья Кравченко. На столе, с боку, на скатерти несколько ромашек. Прохор Семёнович помнит, как мать зашикала на выдумщицу Татьяну, – надо уже вставать, фотографироваться, а та убежала за цветами. Нарвала ромашек за амбаром. Хотела их, видать, в баклажку поставить, кинулась, было, за нею, да, видя недовольство матери, насупленные брови фотографа, – оттого нос его стал ещё более крючковатым, клюв, да и только, того и гляди: долбанёт; – положила цветы подле себя. Стала вот, стоит, напряглась вся в ожидании, когда «вылетит птичка».

В центре фотографии отец с матерью, – молодые, красивые. Впереди их, на чурочке (чурочку не видно, но старый человек помнит), Даша с Варварой. Им здесь по три с небольшим года. Стоят на чурочке, положенной плашмя, потому что, если бы они стояли на полу, из-за стола их бы не было видно, – ну, разве, головёнки только торчали. Рядом с отцом – Захар и Прохор; со стороны матери – Катерина и Татьяна. Все в нарядных праздничных одеждах, тогда поэтому случаю был выпотрошен весь сундук.

Отец в льняной косоворотке, в пиджаке. Мама в пёстрой кофточке ситцевой, – дорогой, потому что ситец – мануфактура, и куплена была отцом в городе. Не каждая деревенская женщина могла в те годы позволить пошить себе юбку или кофточку из ситца, – дорого было; шилось всё из домотканого льна. Мама эту ситцевую кофточку давала тогда сфотографироваться и своей подруге, тётке Васёне Ядриной.

Сам Прохор и Захар в льняных новых рубахах, пошитых на вырост. Захару рубаха очень большая, – на большой вырост пошита, – с загибами в нужных местах вершка на два, и с большим напуском на ремешок. Прохору же рубаха мала, – в обтяжку, потому что была пошита три года назад, и он уже вырос из неё. Одевал эту рубаху Прохор только по большим праздникам: на Рождество, Пасху, Троицу. Сёстры все в льняных платицах, у Татьяны платье уже ей в пору, у остальных – большеватые.

Отец и мать тогда обули свои «выходные» обувки; в обувках и старшие дети – Прохор с Татьяной, хотя ног их не видно из-за скатерти на столе, вот только носочек ботиночка Татьяны; остальные были все босые.

...В эти дни у кузницы меж мужиков вот какой разговор был.

– Приехал соблазнитель... моя просится сняться.

– А, помните, года три назад тож приезжал.

– Тогда ещё дед Дорофей со своей бабкой Праскевой снялся... никто тогда рыскавать не стал, а он снялся.

– А потом вся дярёвня к ним по очереди ходили, смотреть на эту картинку... он её и рукой потрогать не давал.

– Карточка те не для потрога, эта ж те не баба... на неё тока глядят... А ты размечтался: и пошшупать хотел?

– Да он, поди, бабку Праскеву пошшупать хотел? Дед-то быстро кол из плетня вывернет.

– Кхе-кхе, гы-гы, ха-ха...

– Да-а, – цельный год тогда ходили, смотрели.

– А по зиме дед Дорофей ворчал: «Ходите, – избу выстужаете».

–... Дык оно дело, конечно, для нас убытошно, но опять же – память.

– Вона я в третьем годе у сродного братца в городе останавливался, видел у них энти карточки, у них их мн-о-го, – цельный иконостас. Миколай-то, братец, сам плохо на них выходит, всё как-то с закрытыми глазами, как спит вроде.

– Тама, главно, не сморгнуть.

– Да как не сморгнёшь, когда огнище, говорят, на тебя так и пышет, а ты стой и тарашши на него глаза.

– А энтот огонь у них, пошто-то, «птичка» называется.

– И, говорят, шевелиться не надо... как вроде помер уже.

– Вот снимешься, и в самом деле помрёшь.

– А чё, – и тако может быть.

– А моя уж полушалок новый из сундука достала, так-то ничего не говорит, а полушалок достала...

– Я на коня ноне думал сгношиться, а теперя че? – на карточки добро изводить... не-а...

И меж баб у керосинной лавки в тот вторник тоже эта тема поднималась.

Керосинная лавка, как и скобяная, принадлежала купцу Аксенову Илье Никифоровичу, мужику руками умелому, сноровистому, на ногу спорому и в умственном деле цепкому да хваткому. Торова-а-т – тороват! – в этом году на приходскую школу хорошую деньгу отстегнул; мостовую, согласно своему статусу, уместил больше положенного, – от своего дома аж до самых ворот храма. Лет ему сорок с небольшим, среднего роста, но крепенький, как ядрёный груздок, уверенно стоит на ногах, как и положено по чину, в сапогах при каблучке с высоким голенищем бутылочкой.

Он только в прошлом году выкупил гильдейское свидетельство, еще гордыня подмывала мужика, захлестывала, порой, как по весне степи захлестывает талая вода. Новоявленный купчина внутренне одергивал, корил себя за несвойственную кичливость, спесь.

Противоречивые, неоднозначные чувства испытывал Илья Никифорович, вспоминая своё посвящение в купечество: восхищение с одной стороны, с другой – некое разочарование.

Илья Никифорович улыбался, подхмыкивал, качал сокрушённо головой, вспоминая те три дня, что провёл в Каинске и неделю, что приходил после этих трёх дней в себя.

Вот размах дак размах! Вот выдумщики-то! Вот измыслители! – восторгался он гильдейскими сотоварищами, каинскими купцами, к коим он был приписан.

Егоров-то, Егоров! Из соседней деревни Осинники, на два года поперёд получил гильдейское свидетельство; со стороны – был мужиком, мужиком и остался, медведь медведем, а каков затейник! Какой кураж: мыть лошадей шампанским! дрожки коньяком!.. А как с дамочками обращается!

Поп с церковным хором, – явный был перебор, лИшек. Здесь же кабинеты и мамзелочки, как блошки, с одного на другого.

Ерофеев Венедикт Петрович! – тот силище! – что там говорить, если по его хотению проложили Транссибирскую магистраль, отодвинув на двенадцать километров от Каинска. Каинск

– узловая станция на Сибирском тракте. Ямское дело сохранить мыслил Ерофеев. Ещё бы! – от этого дела денга на него, как снег с неба, валилась. Государь утвердил генеральный план магистрали, а Ерофеев своим перстом в изумрудном перстенёчке отодвинул железку.

Рассказывали мужики. О том, что железную дорогу здесь будут класть, Ерофеев поперёд губернатора знал. Верные люди у него в столице одАренные, прикормленные были, – доложили ему о том.

Инженеры-изыскатели приехали, в форменном обмундировании, блестящие пуговицы в два ряда; серьёзные, торжественные, многие седовласые. С ними помощники молодые, не по форме обряжены. И не по-простому, не по-обывательски, – по-московски, щеголеватые, смешные.

Девушки местные нарочно мимо них прогуливаясь, украдкой на них глянут, и приснут смехом, рты закрывая вышитыми платочками. Убегут. Но их так и тянуло вновь прогуляться мимо тех, молодых. Завернут на новый круг девушки, и туда-сюда, пока матери их не скличут.

Два года подряд работали инженеры, все вымеряли, и аршином, и ногой; вприщур на речки свои поглядывали. Треножки, похожие на этажерки, что в некоторых девичьих горницах стоят, расставляли.

Сойдутся два-три человека, два-три слова на своем инженерском языке что-то скажут. Разошлись. Да шагают широко, споро.

А то соберутся человек семь, разговаривают-разговаривают, громко разговаривают.

Выщитывали, всё что-то прикидывали они. Лбы чесали – *мараковали*. В бумаги свои всё заносили. Все кусты и буераки спознали, излазили. В болотах тонули; сапог одного инженерика долго в болоте торчал, пока не проглотила его болотная зыбь. Самого-то его товарищи вовремя тогда выхватили из болотины, – а то потонул бы. Гнус местный своей кровушкой сладкой стальной инженеры опаивали. Колышков позабывали в землю несчетное количество. Уехали.

Ерофеев раза два, пока инженеры работали, к ним подъезжал. С пролётки не сходил; пролёточкой встанет в сторонке, смотрит, смотрит, слов не говорит. Сплюнет, матернётся купчина; в спину, сидящему на козлах тростью ткнёт. Уедет.

Потом депеша пришла, мол, ждите днями главного строительного инженера. Почтмистер караульного с этой депешей к Ерофееву отправил.

Караульный, Дондон Могута, двадцатипятилетний детина, всполошился, напугался, – не каждый день к Самому главному купцу сбегать наряд получаешь, – кинулся было, уж полдороги пробежал, да назад пришлось ему вернуться: саблю забыл к боку пристегнуть, а купчина не любил, когда к нему не по форме являлись. Он так-то Дондона Могуту не долюбивал, «криворотиком» его обзывал.

Вернувшись, чтобы саблю взять, Дондон от почтмейстера разных обидных слов услышал, его разумение о себе выслушал.

Если честно, Дондон сам себе не нравился. И что только в нём вдовица Марфуша, жена утопшего в прошлом году подьячего Трифона Патрикеева, нашла. Миленьким его называет.

Дондон с некоторых пор стёклышком девичьим обзавёлся, у барышни соседской выменял за кулёк пряников. Непростое оно это стёклышко: глянешь в него, и себя увидишь.

Первый раз, когда Дондон глянул в то стекло, напугался. Потом, поразмыслив, понял парень, что он там и сидит, – вдвоём с тем, за кого вначале он принял себя, они бы там не поместились. Уж больно маленькое стекло было, на Дондовой ладошке несколько таких можно разместить. Стал помаленьку привыкать к себе Дондон, и волос пятернёй приглаживать.

А потом Дондон догадался, почему соседская девушка с этим стёклышком легко рассталась, – не нравилась она себе скудная. Беденькая Фёклушка, – жалел мысленно её Дондон.

У Дондона верхняя губа попорчена, оттого и рот криво на лице смотрится. Не в военных баталиях, по бражному делу случилось то.

Рождество с другом Иваном Проскудой справляли. А он, как напьется, ласковым становится, лезет целоваться, да не единожды, лижется да лижется, как телок.

От избытка ласковости и нежности чувств и откусил Иван часть губы другу, вместе с порослью откусил. И проглотил, не выплюнул. Потом уж оправдывался: дык, я, Дондоша, думал, карась с хвостом...

Кровищи было! Заросло, конечно, со временем. Только на том месте теперь как бы канавочка образовалась, и волосё не растёт, как у бабы голо, и холодит то место.

...Приехал главный инженер.

Ко мне его, – скомандовал Ерофеев. Никакой Управы! – там каждый будет считать себя равным. Ко мне! Кому сказано!?

Опьяненного сибирскими просторами инженера под белы ручки, и прямо в апартаменты Ерофеева, что на улице Иркутской, а там уж вся знать купеческая собралась. Только Шкроев Иван Васильевич не пришёл. Вместо него пожаловала жена его, Александра Ивановна. Пояснила она: муж спит по причине празднования дня рождения кума.

Дак, праздновали-то в воскресенье, и я был приглашённым к Ивану Капитоновичу, а сегодня – суббота... – заикнулся, было, и здесь же осёкся, купец 1-ой гильдии Волков Родион Семёнович, мужичок костью куцый, телом жидкий; и сидя, не выпускал он трости из сухоньких ручонков.

Ничего не ответила женщина, лишь руками развела.

Намыли инженера, напарили в баньке, и в трапезную прямо в исподнем, на плечики лишь кунью шубейку набросили, мол, всё здесь у нас по-простецки.

После дальнего странствия, дорог тряских чувства притупились у путешественника, в голове кисельно гладко сделалось, как вроде, извилины стёрлись, и лишь одна мысль: ну, наконец-то, доехал! – радостно металась в голове. Слегка ополоумел работник умственного труда. А здесь ещё баня, да дурманящий берёзовый веник.

Но всё же смекнул мужичонка, что негоже столичному инженеру в таком виде, да ещё и при даме. Одел мундир. Сидел за столом пустой, но торжественный, значимый. После осетринки и первой же стопки «ерофеевки» посоловел, голова совсем не своя сделалась у московского, – воспринимал явь как в тумане.

Венедикт, хитрец, давай перед московским больше туману напускать, играть в либералы, – выслушивать мнение всех присутствующих о постройке дороги.

Александра Шкроева, встав с места, – монументом стояла: телеса налитые, того и гляди, платье по швам пойдет; лицо лососевого отлива, – давай пальцы загибать, перечисляя выгоды от постройки железной дороги. Ерофеев, не церемонясь, прервал её. И, откинувшись на высокую спинку стула с именными вензелями, предложил голосовать.

Голоса разделились. Против переноса железной дороги от Каинска проголосовала Александра Ивановна Шкроева и Левако Мовша Абелевич.

Ерофеев от негодования глазищи выпучил, – что шары бильярдные, – навёл их на Левако, но проговорил, – истый артист! – ласково:

– Мовшечка, дорогой, не дело нам слушать бабу. Ну посуди сам: построят дорогу, понаедут здесь всякие, и наша торговля заглохнет...

Переголосовали.

Так по-модному – по-либеральному, по-стародавнему – по-любовному и решили купцы между собой, отодвинуть дорогу от Каинска.

Уломали и Главного, – уж очень ему шуба кунья понравилась. Колебался, раздумывал, правда, в начале инженер. Поверх шубы шкурку черно-бурой лисы купец Волков небрежно бросил: для вашей любезной жёнушки, – пояснил. Эта мягкая рухлядь и умягчила сердце столичного. Согласился отодвинуть дорогу от Каинска инженер.

Перед Императором оправдание все дружно тому решению нашли: мол, недосмотрели изыскатели, болото непроходимое на пути оказалось.

Как только Александра Ивановна Шкроева поняла, что уступил инженер, встала из-за стола, вскинув голову, что лошадь взнузданная, покинула почтенное собрание купчиха, прямая, непреклонная, – уверенная в своей правоте.

...И по хотению, желанию тех купцов положили железную дорогу и новый населенный пункт построили, узловую станцию – назвали её Каинск-Томский – в двенадцати километрах от их Каинска.²

Только со временем купцы каинские поняли, что промашку с железкой дали. Вкусили прелесть перевозки грузов по железной дороге, и поняли. Им до Каинска-Томского, до железнодорожной станции грузы по непролазной грязи возить приходилось, – маетно, канительно, накладно. Бугрятся мышцы, всдуваются вены и у коней тяжеловесных, двужильных, и у дюжих мужиков, сопровождающих грузы. Долго куражась, не соглашались, деньгу ломали за свои труды мужики те большую.

Некоторые купчики молодые, лёгкие на подъем, скрутились одночасьем, – а что им терять-то? – и переехали из Каинска в Ново-Николаевск. Там, говорят, мощну свою туго набивали.

Загоношились, засуетились купцы, которые недавно были против железной дороги, гонцов слали в Москву: класть ветку железную надо, воссоединять Каинск с Каинском-Томским.

13 августа 1910 года был издан Именной Высочайший указ о выделении земли для постройки дороги Каинск – ст. Каинск.

Часть деньги на постройку ветки купцы, как повелось, из своих заглашников доставали, выуживали.

Через пять лет была положена железная дорога, соединившая два Каинска.

А ямщицкое дело быстро угасало, скоро в упадок приходил Московский тракт – не под силу оказалось брэнной, *скудельной* лошадке тягаться с железным конём.

... А речь какую держал при вручении свидетельств Ерофеев! – у Ильи Никифоровича и сейчас мурашки по коже пробегают.

Трое их было в тот раз оглашенных в купечество. Все уж, было, собрались в Собрании. Ждали только Самого – его, Ерофеева.

Ждут. Челядь дорожки расстелили по всей улице, – конца-края не видать.

Бывалые именитые купцы спокойные, разговоры деловые ведут, кто как капиталу нарастил в этом году. Те, кто помельче потрухивают маленько. У оглашенных от волнения ноги подкашиваются.

«Едет-едет...» – пронеслось по залу. Высыпал на улицу люд. Вытянул, как гусак, Илья Никифорович шею, – росту небольшого. Видит: конь белый, отменной выправки, стройные точёные ноги высоко выкидывает, и, кажется, не бежит, а плывёт по воздуху конь, а копыта золотом брызжут. Илья Никифорович аж глаза зажмурил и головой мотнул, – подумал, от волнения наваждение приключилось, – стряхнуть хотел. Как уж потом узнал Илья Никифорович: и впрямь, – золотом подкована лошадь у Самого.

... Старший Аксёнов, Никифор Иванович, ворчал на сына, приговаривал:

– Здря, Илюшка, ты с энтой гумажкой затевашь... жил без неё, и проживёшь.

– Тятя, пусть лежит в ящике. Есть, пить не просит, и ладно, – отвечал сын отцу. – Ты, тятя, сроду противился моему делу, всю жизнь брезгливо относился к моим магазинам. Всё время твердил: зря в купцы метишь.

² Железная дорога была построена в 1896 году. В 1917 году Каинск-Томский переименован в Барабинск.

– Я и сейчас говорю: здря, здря, Ильюшка, ты от земли отрываешься, внуков от неё отворачиваешь. От землицы нам никак нельзя нос воротить. Ради неё твой дед с Тамбовщины сюды пешим шёл.

– Я, папаня, и не ворочу носа, как были у меня пятнадцать десятин, так и остались. Только теперь у меня есть возможность пользоваться наёмными трудами.

Оставшись один в складах, разговаривал уже сам с собою Илья Никифорович, вёл мысленный разговор, беседовал с отцом:

– Ты, папаня, в магазин зайдешь, рукой ни к чему не притронешься, – брезгуешь. Палочкой, своим батожком поковыряешься, небрежно так, как бы между прочим, культяшкой отможенного пальца ткнёшь в пряники мятные, – любишь ты, тятя, мятные прянички, любишь... Ешь, ешь, родной мой, кушай на здоровьице, тятя, – почему-то слеза наворачивалась у купчины от своих же нежных мыслей, – скажешь: с фунт положь.

Вытирал слёзы, долго сморкался купчина.

– Не всю же жизнь нам с тобой, тятя, дуги гнуть. Поди, по всей Сибирушке колокольцы под твоими дугами бренчат, те же купчины разъезжают. Вона три года назад я в Таре, на ярмарке был, признал твою дугу, твою руку. Да и как не признать, если я подле тебя был тогда, когда ты эту дугу гнул и разузоривал. С ранних лет я подле тебя, тятя, тёрся: принести, поддержать. В страдную пору на поле, а ранней весной и зимой – в землянке, там ты по весне дуги гнул, там, уже по зиме, резным хмелем обвивал дуги свои, искусно узорил. Под такими дугами проехать, – без хмельного хмельным сделаешься...

Меня ты, тятя, к резному делу приучал. Дуги знатные у тебя получались, лёгкие, невесо-мые. Весу в коих было не более, чем в калаче из хорошего теста. Заказы ты из самого Томска получал. С того и мой капитал был начат. Ценю то, и дорожу тем.

Присев за конторку, взяв из ящичка большую книгу, с заглавием «Книга для расхода общего», сидел, не открывая ее купец. Она требовала большого внимания, а Илья Никифорович сейчас весь был погружён в воспоминания, размышления.

– Зимой ездил ты, тятя, в колочки, присматривал, примечал нужные лесинки. Меня с собою брал.

Дядька Федя Нелюбов тоже был мастером по дугам. Между вами негласно были поделены лесочки; он в твои не ездил за лесинами, ты – в его.

Без рукавиц прощупывал ты каждое деревце, простукивал, оттого однажды и палец отморозил. Болел палец, а ты не чувствовал. Приехал тогда из лесу, намазал его солидолом, попросил мать: «Перевяжи, Нюра... палец что-то прихватило».

День ходишь с перевязанным пальцем. Маманя: «Никиша, давай палец-то перевяжем». «Некогда... опосля», – отвечаешь.

На другой день всё же решил повязку поправить, палец новой порцией солидольчика умаслить. Стал тряпицу-то разматывать, а палец, возьми, да отвалился, вывалился из тряпички, из своего гнёздышка. Кошка схватила его, потащила, еле отобрали, по всей избе за ней мы с сестрицей гонялись. Потом с Таней же и закопали твой пальчик в конце огорода, – похоронили.

Мать бранилась на тебя.

А ты: «Да я думал, поболит да перестанет, не в первый же раз тако».

«Болело ведь, саднило небось, а ты всё терпел, мила-а-й ты мой... Не жалешь ты себя, Никиша» – качала, сокрушаясь, головою мать.

Зима-белешвейка ещё лоскуты свои не все и на открытой-то местности прибрала, а в колочках дак ещё кое-где и навалы, словно тюки мануфактурные, потемневшего снега лежали, но соки по деревьям уже погнало, – бежали. Вот в это самое время мы ехали, рубили те метные березки, ракитник. Нам ведь до посева всё успеть надо было. Ты, тятя, рубил лесины, а я к телеге таскал, грузил.

А потом самое интересное начиналось. Кряжи нужного размера нарезали, распаривали эти кряжи: часть в землянке, в кадях; другие – в куче навозной; в бане под потолком у тебя полка была – на полку складывал иные. Тятя, ты у меня, как Ломогосов, тот, говорят, тоже любил опыты делать, и ты так.

Гнул ты дуги легко, один, меня даже не подпускал, разве, где, когда поддержать, а так один. Я видел, как гнул дуги дядька Федя. Ему взрослый сын помогал, и он на помощь еще соседа звал, Ефима-Эконома, а у него силищи – ого-го-го, дай Бог каждому! – втроём гнули. А ты один! Толь ты, тятя, такие податливые лесины умел выбирать, толь слово какое знаешь, али сам Бог тебе помогал?

Тятя, был я тебе помощником, а вот от тебя нет мне поддержки в моём купецком деле. Тятя, тятя, брезгуешь ты моим делом.

Илья Никифорович открыл гроссбух. Первые две страницы книги были плотно исписаны его корявым почерком. Купец пробежал глазами по тексту, который он знал наизусть. Оригинал этого текста был вручен вместе с гильдейским свидетельством и хранился с удостоверением на дне сундука, что стоял в опочивальне. Взгляд выхватывал отдельные пункты, купец с трепетом и благоговением читал:

«Пункт 1. Деловые качества: здравый рассудок, быстрое соображение, твёрдость характера в исполнении всех дел. Каждый порядочный человек может выработать эти качества непоколебимой решимостью и силой воли...»

Пункт 7. Держите всегда данное слово. Лучше не обещайте, если не уверены в том, что вы в состоянии исполнить обещанное, но раз давши слово, вы должны его помнить и свято исполнять...

Пункт 12. Относитесь к своему делу с полным усердием, чем бы вы не занимались. Работайте, когда случится надобность: рано и поздно, вовремя и не вовремя, одним словом, не пропускайте ни одного случая, который бы мог хотя и медленно служить успехам ваших занятий...

Пункт 19. Записывайте все и никогда не держите в памяти того, что может быть записано сейчас.

Пункт 20. Всякое дело основано на доверии, поэтому вы должны всеми силами стараться снискать себе полное доверие тех, с кем вам приходится иметь дело. Этого вы можете достичь разными путями, а главное – честностью и добросовестностью.

Пункт 21. Соблюдайте экономию в ваших личных расходах, лучше живите ниже ваших средств, чем выше».

То был «Кодекс чести российских купцов».

Наконец Илья Никифорович открыл книгу на нужной странице, взял из-за уха карандаш, обмакнул его в мелкую плошку с водой, что постоянно стояла на столе, делал запись: «мЕлашные расходы». Вязь письма играла-переливалась на бумаге фиолетовым-лиловым, серым-дымчатым. Кончик языка от сосредоточенности и усердия, с которым Илья Никифорович выводил буквы, выглядывал из уголка рта.

Груня, просмешница, видя, как муж высовывал язык во время письма, часто подтрунивала над своим Илюшей: опять язычок у тебя на пороге, – приговаривала. Дразня мужа, взрослая женщина, как маленькая девочка, высовывала свой розовый язычок. В ответ на эту её проделку Илье Никифоровичу хотелось обнять жёнушку, и целовать-целовать до одури. Но она, проворная, увёртывалась, ускользала днём из его рук, он навёрстывал это ночью.

...Купцы-товарищи нонче зовут Ильёу Никифоровича в Москву, – обмыть, отметить свидетельство. *Фортель* был такой у местных купцов: по зиме в московские кабаки собственным экипажем ездить. Говорят, уж пятнадцать человек записалось, – хороший поезд получится. Поговаривают, сам Ерофеев Венедикт Петрович в том списке значится.

Если Груня отпустит, – поеду, – рассуждал мужик. Ей с сынком, Мишаней, без него здесь дело вести, а Мишане лишь десять годков, не велик помощничек, – тяжелоат Груне будет.

Старшего сына, Никиту, Илья Никифорович уже женил, отделил. Дом ему в самом Каинске поставил, – двухэтажный: в подвале, как водится, склады, на первом этаже лавка галантерейная, на втором – жилые апартаменты.

Своему приказчику Илья Никифорович не доверял, – плутоват. На ученика, Нефёдку, надежи мало, болезный он. Нефёдка – сынок друга еще с детства, Николая Пермякова. Ноженьки худые у мальчика, а головой он разумен, мыслью светлый, толк со временем должен получиться из парня.

Илья Никифорович уж приговаривал жене, что желательно бы съездить в Москву, ради дела. Обещал гостинцев привезти: перстенек золотой да полушалок, шитый канителью. Та в ответ:

– В портках опять мне гостинцев не привези. – Чем вогнала в краску мужика. Но окончательного согласия еще не дала.

Любил Илья Никифорович свою Груню. Тихо и нежно любил, не пряча своих чувств за напускной грубостью, но и не заглядывая, как песик, безконца в глаза. Золотая канитель невидимо тянулась от его сердца – к Грунинуму, и обратно.

...Керосинная лавка находилась на территории скобяной лавки, только туда, вглубь огородных рядов, и заходить в неё надо со стороны проулка.

Скобяная лавка хоть и называлась скобяной, но на поверку таковой не была. Не продавались в лавке скобы, мужики пользовались скобами в своей, деревенской кузнице кованными. В местной кузнице изготавливались и домовитые топоры-царьки, языкастые лопаты, вилы-зубоскалы.

А в лавке той продавали гвозди; торговали ситцем, – лежит в ней, вот уж лет пять, два тюка ситца, уменьшаются понемногу, берут люди с большого достатка; монпансье продают, петушков на палочке, крендельки затейливые, сушки да пряники тульские.

Лавка керосинная – землянка, ее деревянная двухстворчатая дверь, оббита листовым железом. Емкости, в которых хранится керосин, врыты в землю. Керосин Илья Никифорович собственноручно отпускал, никому не доверял. Он черпал керосин из жбана специальным черпаком на длинной ручке.

В селе был определен день недели отпуска керосина, это был вторник. За керосином всё больше бабы, девки да девочки ходили, по той простой причине, что хозяин наказывал мужикам не ходить: смолят самокрутки, того и гляди, до пожара недалеко. Мальчишек он тоже особо не жаловал, и, как узнает, что который уже балуется куревом, – отказывал тому продавать керосин. На той неделе наказывал Коркиным: Яшку ни в коем разе за керосином не посылать.

Отец с матерью, конечно, знали, что сын курит, помалкивали, – сходить за керосином некому будет. Матери все некогда, как белка в колесе, по дому; дочь Дашенька маленькая. Вот и ходил Яшка, пока сам Аксенов не отказал им.

Из мужиков вот только старик Спиридон Иванович Варнаков и ходит за керосином, и то только, что он в родстве Илюше Аксёнову, да так какой мальчонка маленький за материну юбку прицепится.

Пойти за керосином для деревенской женщины – своеобразный поход на люди: баба и платок поновее оденет, и грязный передник снимет, и обувку рваную сбросит.

Да не в каждой ещё семье пользуются керосиновой лампой, есть семьи, которые ещё, живя в скудости, пользуются жировиком или даже лучиной. И те, кто уже завёл керосиновую лампу и моду жить при керосине, могли неделю-другую прожить и без керосина, если из денег выбивалась семья.

Керосин использовали экономно, лишний раз и не зажигали лампы, берегли каждую каплю. Да и брали понемногу, приходили с бидончиками литровыми или полтора литровыми. Иной раз и ужинали, по старинке, – в потёмках, а что: мимо рта не пронесёшь. И считалось, да

так оно, и в самом деле, было, что тот, кто пользуется керосином, живёт в достатке. А Аксёновы, говорят, щепки для разжигания печи в керосин макают. Правда-нет, но люди говорят.

Сама же керосиновая лампа была не только неким доказательством достатка, но и украшением крестьянской избы, вон она какая нарядная! – в кружевном ободочке, как девка в кокошнике.

Со временем мужики научились свои сигарки крутить козыми ножками и прикуривать от стекла лампы, у них это как-то манерно, по-городскому что ли, получалось.

Старики приговаривали:

– Чё чичас не жить! – Засветят лампу, – и светло, как днём; хошь – рубаху шей, хошь – вшей ишши.

В землянку-лавку Илья Никифорович по одному человеку зазывал. Необычность прохладного помещения в летнее знойное время, полутьма, запах керосина, – то был запах города, оттуда эта мода пришла, – не объяснимым образом воздействовал на воображение иной девки-бабы, – кружил голову, окрылял.

Сноха Козиных, Клавдия, – приходила она иногда за керосином, – говорила:

– Мне после керосинной лавки всегда хочется за цветами в поле сбегать, – избу украсить, красоту навести, как в городе... чугулки намыть, песочком их на озере поскрести.

Однажды с какого-то бидончика капнула капля керосина в лужу и разлилась, играя всеми цветами радуги. Считай, всё село тогда побывала у той лужицы, все хотели посмотреть на радугу, лежащую на земле. Вот только грязь вокруг той лужицы вперёд недовольно и зло морщилась; корёжило её, корёжило, а потом она исчезла, вытоптанная, растасканная ногами. В лужице, – радуга, – красотище! Чудо-чудное!

...В дни приезда фотографов у керосинной лавки бабы вот какой разговор вели.

– Ой, бабоньки, как я на карточку хочу сняться, – говорила, сладко потягиваясь и тряся юбкой, крутобокая, ядрёная сноха Самойловых.

– И моя пустоголовая сноха, Клавка, вижу, тож засобиралась сниматься: стекло своё из сундука достала, зенки свои в него лупит, да бровь слюнявит... тьфу... – жужжала на ухо рядом стоящей бабе старуха Козина.

– Надоть в церкву сходить, у батюшки спросить, можна-нет сниматься, а то снимитесь, а потома че-нибудь да сдекавятся с вами, – научала набожная бабка Степанида. А её особо никто не слушал, – тарабанил каждый своё.

– Говорят, уж Аксёновы снялись...

– А чё им не сниматься... поди, и не на одну.

– Мамка, мамка, исти хочу, – теребил-тянул подол своей мамки чумазый, как чертёнок, мальчонка лет пяти. Мамка вся была поглощена разговором и не слышала его. Да и пришла она сюда одна, – сынишка уж следом за ней прибежал, – она его ещё и не видит. За юбку кто-то потянул, дак она подумала, – опять, как в прошлый раз, – телок шмаковский прибежал. Отшатнулась от «телка» женщина, да еще рукой по юбке провела.

Телок шмаковский, бестолковый, за подолами таскается и жуёт их, скотинка малорогая. У самой-то шмачихи уж вся юбка в заплатках, а ведь одела она её, как и многие, вот только на Пасху, новёхонькую.

Маленькая миленькая девочка четырёх лет, Любашка Жукова, выглядывая из-за юбки своей мамки, показывала язык этому мальчонку. Покажет да спрячется за мамку; выглянет – да опять, а тот не обращает на неё внимание. Девочка недоумевает: утром, когда она с бабушкой выпроваживала гусей на лужок, держа в одной руке прутик, за вторую руку ее тянула бабушка, так как Любашка не попевала за бабушкой и гусями, которые проголодались за ночь, и чуть ли не на крыльях летели на луг, – поскорее набить свои зобы. Не попевала Любашка тогда за бабушкой и гусями, но зато девчужка успевала показать язык Кольке, а тот в ответ показывал кулак. А сейчас он, почему-то, даже не смотрит в её сторону.

– Ой, бабоньки, страхи-то каки: огнище, говорят, так и выскакиват, так и выскакиват из энтой штуковины, – так и пышет змеина.

– Господи, господи... – крестилась бабушка Степанида.

– Тама не огнище, а пташка вылетает, – проговорила, вся покраснев, скромница Марфуша Крахалёва, – девочка-подросток.

– Молчи, девка... уж больно много знашь, – заворчала на девчушку бабка Сидориха, шелохнув своим широким, как полук в бане, задом.

– Мамка, мамка, исти хочу, – всё канючил мальчонка.

– Вот надо ж такому быть... в сундук с приданным дочки положить стеколко, да чернушшее, – дьявольское. Нет, чтобы тряпичку ешшо каку, аль опять же стеколко токма оконное... а она – черну-у-шшее! Дочь пустоголова и мамаша, видно, така же, – всё жужжала на ухо Василисе Ядриной старуха Козина.

– А мой уж одёжу новую велел из сундука доставать, – поведя своим крутым плечиком, соврала, совсем и не вруша, жена Антипа Грошика – Аксинья.

– А мой ни в каку не соглашатся.

– ... перина жиденка..., – всё рассказывала о своей плохой снохе и ее никудышном приданном жадная старуха Козина терпеливой Васёне, – та уже сто раз об этом слышала. И обрадовалась Васёна прянично-медовому голосу Илюши-лавочника:

– Заходи! – Её черёд был.

– Да уж больно дорого: ведро картошки да цельный фунт масла.

– Да уж не говори, Семеновна, – хорошая *жмень* получатся, с лапу моего муженька – цельный месяц можно рябятёшек кашей с маслом кормить. А, кадыть топлёным – полкрынки. Это ж надо, кака дороговизна, – качала головой бабёнка.

– Да-а, дороговато...

– Начётно...

– ... Мамка, мамка, – всё канючил-тянул свою песню мальчишка. А Любаша всё зыркала на него из-за подола своей мамки.

Наконец мамка парнишки, Ефросинья Стрельцова, взглянула на мальчика... ещё раз взглянула, и, признав в этом маленьком чумазеньком чертёнке своего сынишку – Кольку, всплеснула руками, плюнула ему на щечку, задрала подол юбки, обтёрла ему лицо.

И слегка отстранив его от себя, со стороны ещё раз взглянула на сына, и еще раз шоркнув подолом юбки по его мордашке, – еще одно пятнышко оттерла.

Еще раз отшатнула женщина парнишечку от себя, – и, как бы, окончательно убедившись, что это действительно её сын, взяв его за ручонку, отправилась домой, кормить ребёнка.

А бабы ещё долго стояли, молотили языками, и было в этот раз о чём.

Сворачивая из проулка на улицу, они столкнулись с Ваней Самойловым, – трёхлетним мальчиком. Он скакал на своём «коне», – на хворостине, хворостиной же погоняя, вприпрыжку-вприскочку, как и правдашний конь, да ещё ногой оземь бил, – ретивый! «Иго-го», – сказал Ваня-конь, и, показывая свою хорошую выправку, пришпорив, – промчался мимо, во весь опор. Знал и этот мальчонка, где сегодня мамку свою искать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.